

## КРУЖОК АПОЛЛОНА ГРИГОРЬЕВА\*

Казалось, трудно было бы так близко свести на долгие годы две таких противоположных личности, как моя и Григорьева. Между тем нас соединяло самое живое чувство общего бытия и врожденных интересов.

Связывающим нас интересом оказалась поэзия, которой мы старались упиться всюду, где она нам представлялась, принимая иногда первую лужу за Ипокрену.

Начать с того, что Александр Иванович (отец Аполлона) сам склонен был к стихотворству и написал комедию, из которой отрывки нередко декламировал с жестами; но Аполлон, видимо, стыдился грубого и безграмотного произведения отцовской музыки. Зато сам он с величайшим одушевлением декламировал свою драму в стихах под названием «Вадим Нижегородский». Помню, как надев шлагфрок на опашку, вроде простонародного кафтана, он, войдя в дверь нашего кабинета, бросался на пол, восклицая:

О, земля моя родимая,  
Край отчизны, снова вижу вас!..  
Уж три года протекли с тех пор,  
Как расстался я с отечеством.  
И те три года за целый век  
Показались мне, несчастному.

Конечно, в то время я еще не был в силах видеть все неуклюжее пустозвонство этих мертворожденных фраз; но что это неладно, я тотчас почувствовал и старался внушить и Григорьеву. Так родилась эпитафия:

---

\* А.А. Фет. «Ранние годы моей жизни». М., 1893, с. 150—157, 160—161, 170, 172, 192—193.

Григорьев, музами водим,  
Налил чернил на сор бумажный  
И вопиет с осанкой важной:  
Вострепещите! мой Вадим.

Писал Аполлон и лирические стихотворения, выражавшие отчаяние юноши по случаю отсутствия в нем поэтического таланта.

«Я не поэт, о, Боже мой!» — восклицал он, —

Зачем же злобно так смеялись,  
Так ядовито насмехались  
Судьба и люди надо мной?

По этим стихам надо было бы ожидать в Аполлоне зависти к моим стихотворным попыткам. Но у меня никогда не было такого ревностного поклонника и собирателя моих стихотворных набросков, как Аполлон. Вскорости после моего помещения у них в доме моя желтая тетрадка заменена была тетрадью, тщательно переписанною рукой Аполлона.

Бывали случаи, когда мое вдохновение воплощало переживаемую нами сообща тоскливую пустоту жизни. Сидя за одним столом в течение долгих зимних вечеров, мы научились понимать друг друга на полуслове, причем отрывочные слова, лишённые всякого значения для постороннего, приносили нам с собою целую картину и связанное с ними знакомое ощущение.

— Помилуй, братец, — восклицал Аполлон, — чего стоит эта печка, этот стол с нагоревшей свечою, эти замерзлые окна! Ведь это от тоски пропасть надо!

И вот появилось мое стихотворение

Не ворчи, мой кот-мурлыка...

долго приводившее Григорьева в восторг. Чуток он был на это, как Эолова арфа.



Помню, в какое восхищение приводило его маленькое стихотворение «Кот поет, глаза прищуря», над которым он только восклицал: «Боже мой, какой счастливец этот кот и какой несчастный мальчик!»

Аполлон в совершенстве владел французским языком и литературой, и при нашей встрече я застал его погруженного в *Notre Dame de Paris* и драмы Виктора Гюго. Но главным в то время идиолом Аполлона был Ламартин. Последнее обстоятельство было выше сил моих. Несмотря на увлечение, с которым я сам перевел «Озеро» Ламартина, я стал фактически чтением вслух убеждать Григорьева в невозможной прозаичности бесконечных стихов Ламартина и довел Григорьева до того, что он стал бояться чтения Ламартина, как фрейлины Анны Иоанновны боялись чтения Тредьяковско-го. Зато как описать восторг мой, когда после лекции, на которой Ив. Ив. Давыдов с похвалою отозвался о появлении книжки стихов Бенедиктова, я побежал в лавку за этой книжкой?!

— Что стоит Бенедиктов? — спросил я приказчика.

— Пять рублей, — да и стоит. Этот почище Пушкина-то будет.

Я заплатил деньги и бросился с книжкой домой, где целый вечер мы с Аполлоном с упоением завывали при ее чтении. Но, поддаваясь байроновско-французскому романтизму Григорьева, я вносил в нашу среду не только поэта-мыслителя Шиллера, но, главное, поэта объективной правды Гёте. Талантливый Григорьев сразу убедился, что без немецкого языка серьезное образование невозможно, и при своей способности прямо садился читать немцев, спрашивая у меня незнакомые слова и обороты. Через полгода Аполлон редко уже прибегал к моему оракулу, а затем стал самостоятельно читать философские книги, начиная с Гегеля, которого учение, распространяемое московскими



юридическими профессорами с Редкиным и Крыловым во главе, составляло главнейший интерес частных бесед студентов между собою. Об этих беседах нельзя не вспомнить, так как настоящим заглавием их должно быть — Аполлон Григорьев. Как это сделалось, трудно рассказать по порядку; но дело в том, что со временем, по крайней мере через воскресенье, на наших мирных антресолях собирались наилучшие представители тогдашнего студенчества. Появлялся товарищ и соревнователь Григорьева по юридическому факультету, зять помощника попечителя Голохвастова — *Ал.Вл. Новосильцев*, всегда милый, остроумный и оригинальный. Своим голосом, переходящим в высокий фальцет, он утверждал, что Московский университет построен по трем идеям: тюрьмы, казармы и скотного двора, и его шурин приставлен к нему в качестве скотника. Приходил постоянно записывавший лекции и находивший еще время давать уроки будущий историкограф *С.М. Соловьев*. Он, по тогдашнему времени, был чрезвычайно начитан и, располагая карманными деньгами, неоднократно выручал меня из беды, давая десять рублей займа. Являлся веселый, иронический князь *Влад. Ал. Черкасский*, со своим прихихикиванием через зубы, выдающейся вперед нижней челюстью. Снизу то и дело прибывали новые подносы со стаканами чая, ломтиками лимона, калачами, сухарями и сливками. А между тем в небольших комнатах стоял стон от разговоров, споров и взрывов смеха. При этом ни малейшей тени каких-либо социальных вопросов. Возникали одни отвлеченные и общие: как, например, понимать по Гегелю отношение разумности к бытию.

— Позвольте, господа, — восклицал добродушный Н.М. Орлов, — доказать вам бытие Божие математическим путем. Это неопровержимо.



Но не нашлось охотников убедиться в неопровержимости этих доказательств.

— Конечно, — кричал светский и юркий Жихарев, — Полонский несомненный талант. Но мы, господа, непростительно проходим мимо такой поэтической личности, как Кастарев:

Земная жизнь могла здесь быть случайной,  
Но не случайна мысль души живой.

— Кажется, господа, стихи эти не требуют сторонней похвалы.

— Натянутость мысли, — говорит прихихикивая Черкасский, — не всегда бывает признаком ее глубины, а иногда прикрывает совершенно противоположное качество.

— Это противоположное, — пищит своим фальцетом Новосильцев, — имеет несколько степеней: il y a des sots simples, des sots graves et des sots superfins.

Что касается меня, то едва ли я был не один из первых, почуявших несомненный и оригинальный талант Полонского. Я любил встречать его у нас наверху до прихода еще многочисленных и задорных спорщиков, так как надеялся услышать новое его стихотворение, которое читать в шумном сборище он не любил. Помню, в каком восторге я был, услышав первый раз:

Мой костер в тумане светит,  
Искры гаснут налету...

Появлялся чрезвычайно прилежный и сдержанный С.С. Иванов, впоследствии товарищ попечителя Московского университета. С великим оживлением спорил, сверкая очками и темными глазками, кудрявый К.Д. Кавелин, которого кабинет в доме родителей являлся в свою очередь сборным пунктом нашего кружка.

Приходил к нам и весьма способный и энергичный, Шекспиру и в особенности Байрону преданный *Студицкий*. Жаль, что в настоящее время я не помню ни одного из превосходных его стихотворных переводов еврейских мелодий Байрона. Вынужденный тоже давать уроки, он всем выхвалял поэтический талант одного из своих учеников, помнится, Карелина. Из приводимых Студицким стихов юноши, в которых говорится о противоположности чувств, возбуждаемых в нем окружающим его буйством жизни, я помню только четыре стиха:

Как часто, внимая их песням разгульным,  
Один я меж всеми молчу,  
Как часто, внимая словам богохульным,  
Тихонько молиться хочу.

Надо отдать справедливость старикам Григорьевым, что они были чрезвычайно щедры на все развлечения, которые могли, по их мнению, помогать развитию сына.

С переходом на второй курс университетские занятия более специализировались. Юристы еще более подпали под влияние профессора Редкина, и имя Гегеля до того стало популярным на нашем верху, что сопровождавший по временам нас в театр слуга Иван, выпивший в этот вечер не в меру, крикнул при разезде вместо: «Коляску Григорьева!» — «Коляску Гегеля!» С той поры в доме говорили о нем, как об Иване Гегеле. Не помню, кто из товарищей подарил Аполлону Григорьеву портрет Гегеля, и однажды до крайности прилежный Чистяков, заходивший иногда к нам, упирая один в другой указательные пальцы своих рук и расшатывая их в этом виде, показывал воочию, как борются «субъект» с «объектом».

Между обычными посетителями григорьевского



мезонина стал появляться неистощимый рассказчик и юморист, однокурсник и товарищ Григорьева — *Ник. Антонович Ратынский*, сын помещика Орловской губернии, Дмитровского уезда; он, кажется, не получал от отца никакого содержания и вынужден был давать уроки.

В нашей с Григорьевым духовной атмосфере произошла значительная перемена. Мало-помалу идеалы Ламартина сошли со сцены, и место их, для меня по крайней мере, заняли Шиллер и, главное, Байрон, которого Каин совершенно сводил меня с ума. Однажды наш профессор русской словесности С.П. Шевырев познакомил нас со стихотворениями Лермонтова, а затем и с появившимся тогда «Героем нашего времени». Напрасно старался бы я воспроизвести могучее впечатление, произведенное на нас этим чисто лермонтовским романом.

Когда мы вполне насытились им, его выпросил у нас зашедший к вечернему чаю Чистяков, уверявший, что он сделает на романе обертку и возвратит его в полной сохранности.

— Ну, что, Чистяков, как тебе понравился роман? — спросил Григорьев возвращавшего книжку.

— Надо ехать в Пятигорск, — отвечал последний, — там бывают замечательные приключения.

К упоению Байроном и Лермонтовым присоединилось страшное увлечение стихами Гейне\*.

*А.А. Фет*

---

\* Дополнительные материалы о кружке А. Григорьева: а) *Я. Полонский*. «Мои студенческие воспоминания». «Ежемесячные литер. приложения» к «Ниве», 1898, декабрь. Здесь автор вносит поправку в воспоминания Фета, утверждавшего, что в беседах участников кружка не было «ни малейшей тени каких-либо социальных вопросов»: «Мы все были идеалистами (пишет Полонский), т. е. мечтали об освобождении крестьян»; б) *Записки С.М. Соловьева*. П., 1914; в) «Русские Пропилеи». Т. I. Собрал и приготовил к печат-